

ЕГУ: ПРОЩАЙ И ЗДРАВСТВУЙ (Кое-что об университетских практиках и государственной политике)

Николай Семенов

Жорж Батай писал в своей *Теории религии*: «Едва ли в этом мире существует хоть одно предприятие, каким бы гигантским оно ни было, которое не ожидал бы окончательный крах в один ничтожный миг»¹. Почему меня это утешает? И даже в определенном смысле воодушевляет?

Я хотел бы объясниться, прежде чем перейти непосредственно к заявленной теме. (Никак не удастся обойтись без оговорок. Это также – знак нашей пресловутой «конечности», пресловутой, ибо замусоленной.) Иногда мне кажется, что в этом мире соблазнительным осталось только одно: чистый лист бумаги (если, конечно, вы все еще по старинке пользуетесь пером). Вероятно, он меня и соблазнил – вовсе не политические или нравственные мотивы. Ну а как писать – и не рисковать? Письмо, которое перестает быть приключением и остается всего лишь осмотрительным отчетом – нечто довольно безвкусное («вкус» того или иного текста – для меня это звучит отнюдь не бессмысленно). Но вот уважаемый мной человек, познакомившись с названием моего опуса, сказал, что оно в первой части избито, банально. Подумав, я согласился. Но название, как видите, оставил. Просто мне претит боязнь банальностей, свойственная некоторым интеллектуалам и выдающая как раз их слабость, – равно как и жажда непременно быть оригинальным и высказываться оригинально. Ведь более оригинальное (более эффектное, более, если угодно, товарное) далеко не всегда означает и более верное, более истинное. Не столь уж и редко говоришь банальные вещи; потом вдумываешься, вглядываешься в них – и голова кружится: ты и не замечал, что стоишь на краю бездны.

Просматривая материалы, опубликованные в свое время официальной республиканской прессой и посвященные «разборке» с Европейским гуманитарным университетом, я почему-то вспомнил повесть Вл. Маканина *Стол, покрытый сукном и с графином посередине*; я вспомнил размышления героя – вот эти: «Они будут вызывать, обсуждать, копаться в твоих делах нынешних и прошлых. Им необходимо нравственно тебя осудить, прежде чем дать ногой под зад... Они не способны выгнать просто так – они должны будут убедить меня, что я ни-

куда не годен, что я говно, что плохо жил жизнь и что обществу я с некоторых пор и отвратителен, и не нужен». Однако напрасно просится здесь на язык слово «стратегия» (стратегия того, как наилучшим образом разделиться с вами, вполне применимая не только к отдельному индивиду, но и некоей группе лиц, к учреждению). Нет, это не стратегия; то, что делают участвующие в этом люди, никак не соответствует значительности данного слова. Закрытие — ваших возможностей или неугодного учреждения — должно быть воспринято как заслуга закрывающих, которые предстают разом и инкогнито, и вполне явственно, как охранители общественных, нравственных устоев, как Всегда-Стоящие-на-Страже.

Я пишу слишком отвлеченно про что-то непонятное? Неужели? — Я могу защититься ссылкой на относительность всякого события с точки зрения воспринимающего. Поэтому недостаточно одного, хотя бы и самого авторитетного, свидетельства. И пишущий это (сам прошедший путь от создания ЕГУ до его закрытия) не может быть привилегированным свидетелем. Я могу также сослаться на значимость события относительно той перспективы, в которую мы это событие поставили. Для одних ЕГУ — это «плохо», это «не тот путь», «поражение» и даже «провокация»; но для людей иной перспективы ЕГУ — это «победа», «новая возможность», которой нам просто помешали до конца воспользоваться (и не только извне). Ну а перспектива, в которой я пытаюсь удержать это событие (самого существования Европейского гуманитарного университета и его закрытия)... быть может, она выявится в заключении этого эссе-воспоминания-размышления. Во всяком случае, ни одно значимое событие не существует только в единственной перспективе. И опыт ЕГУ невозможно просто стереть, как бы его ни искажали, ни фальсифицировали и ни замалчивали. Это, так сказать, капитализированный опыт; капитализированный по меньшей мере в умах и душах многих людей, которые создавали этот университет, прошли через него, боролись за него и не забудут о нем. В принципе (понимая, что закрытие университета оказалось личной катастрофой для многих людей, отдававших ему свои силы), можно рассматривать данное событие не как победу определенных сил, представляющих власть, и не как крах европейского университета в том виде, в каком он сформировался в наших социокультурном, политическом и образовательном полях, а как маленькую катастрофу самой власти. (Но из маленьких катастроф подчас и складываются большие.) Раз она не нашла никакого другого решения, кроме силового, то... надо ли продолжать? Это событие не осталось незамеченным международной общественностью. И тут в который уже раз вновь выявилось, что государственная политика, которая провозглашает себя полностью «автономной» и «суверенной» (под флагом односторонне понимаемого принципа «невмешательства во внутренние дела»), обманывает граждан и обманывается сама: она тупо бесчувственна к истинному масштабу современной политической деятельности и поэтому находится на положении изгоя, прозябая на обочине европейской жизни.

Как справедливо замечает В. Одайник, «любая политическая и социальная теория, любая концепция общества, формы правления и справедливости покоятся, как это в конечном счете выясняется, на определенном понимании человеческой природы»². — Как же она, эта «природа», понимается нынешней властью? В этом же контексте поставим и вопрос о «месте», об особом «пространстве» Университета. Раскрывается ли здесь ваша способность и желание мыслить? Или же ваша способность подчиняться (с минимальной мерой потребного здесь собственного мышления)? Культивируется ли здесь ваша личность, поддерживаются ли твердая воля и характер? Или же ваша покладистость и гипертрофия той частной функции в вас, которая нужна и полезна сейчас данному государству и нынешнему состоянию общества? Получаете ли вы должную профессиональную компетентность, отвечающую стандарту европейской образованности? Или же эта компетентность обретается в том урезанном виде, который обусловлен обязательным воздействием идеологии?³ Расширяется ли ваш кругозор, обретаете ли вы более широкий и дальний горизонт? Или же вас учат видеть только то, что «надо видеть», и не видеть то, что «не следует видеть»? Если именно первое, то мы все еще следуем идеалу европейского университета. Этот идеал сам зиждется на признании и утверждении определенных базовых ценностей, таких как, например: ценность знания (воля к нему), удерживающая как измерение профессиональной компетенции (подготовка специалиста в определенной области знания), так и широту умственного горизонта (идеал универсальности); ценность свободного общения (университет изначально и есть «свободное сообщество преподавателей и студентов», особого рода ученая корпорация); ценность критического мышления; ценность личностной автономии (отнюдь не исключаящей дисциплины⁴). И разве случайно то, что правовые государства возникли именно там, где были сильны университетские традиции?

Так что об Университете — либо никак, либо уж как-то очень дерзко. Ведь и сама идея была дерзкой. И слишком важной, конститутивной для самой европейской культуры. Если вычесть из последней идею Университета, потеря будет невозполнимой. И для такой, в общем-то, небольшой республики, как Беларусь, роль Университета поднимается до уровня государственной значимости. (Это не значит, что университет непременно должен быть государственным.) Поэтому не удивительно, что решение об упразднении такой солидной образовательной структуры, как ЕГУ, было политическим решением; это несомненно — хотя «аргументы» приводились как раз из сферы образования. Но подобного рода маскировка — обычное дело в нашей политике. Так почему же закрыли Европейский гуманитарный университет? Кто от этого выиграл и кто проиграл? Закрыли потому, что ЕГУ был «страшен»? Потому что был «вреден», не вписывался в общий строй, в признанную и проводимую Государством политическую и идеологическую линию? Потому что работал «на других» и был рассадником не-

нужных, даже таящих угрозу идей и настроений? Потому что сам постоянно давал повод для своего закрытия? Потому что притязал на некую политическую роль и значимость?

Да, это вопрос — о новой ориентации, о новом уровне притязаний, о новой идеологии университетского образования, об ином типе руководства и ином контингенте обучающихся, о новых приоритетах, о стремлении к свободному самоопределению. Ведь что отражается в самой этой аббревиатуре — ЕГУ? — В ней подчеркивается европейский статус⁶, воля к европеизации, которая равно раздражала и авторитарную государственность, и узкий национализм, ощущавших свой провинциализм; внутренняя связь гуманитарных наук с демократическими принципами, открытостью, плюрализмом и философией гуманизма; ставка на более высокий и европейски признанный стандарт профессиональной компетенции. Иногда институты и учреждения проходят ту же эволюцию, что и теории и концепции (воплощением которых они в конечном счете и являются). Так, У. Джеймс, характеризуя развитие прагматической точки зрения, выделял такие этапы: сначала некая точка зрения провозглашается нелепой; затем ее принимают, но говорят, что она не представляет собой ничего особенного; наконец, она признается настолько важной, что даже бывшие противники начинают утверждать, будто они сами ее и открыли. Не находите ли вы некую аналогию в истории ЕГУ? Но Джеймс ничего не говорит о возможности крушения или о запрете данной теории властвующими силами. О, как, оказывается, они могут быть ревнивы! Что такое ревность Власти? Власть ревнует; это значит, что она знает, она чувствует — ее не очень любят; или любят, увлечены (речь идет прежде всего о молодом поколении) не ею, а неким другим институтом, получившим европейское признание и набирающим силу авторитета.

В какой же точке пересеклись университетские практики (вопрос о них разберем чуть ниже) и государственная политика? И в чем, почему они в этой точке не сошлись? Не сошлись ориентированность на европейскую открытость первых и авторитаризм второй? Приоритет ценности личности и ценности самого государства, его воли, первенства его права? Работа над созданием гражданского общества — и над всеприсутствием государства («вертикаль власти», пронизывающая все «горизонталы» социального организма)? Хотя бы и относительной автономии и тотального (в потенции, в «желании» самой Власти) контроля?

Скажем так (это приходится сказать): само существование ЕГУ вызвало сильнейший ресентимент Власти. Стоит напомнить характеристику ресентимента у Макса Шелера. Сближая основной смысл этого слова с немецким *Groll* (хотя точного его эквивалента в немецком языке нет), Шелер поясняет: «*Grollen* — это блуждающая во тьме души затаенная и независимая от активности “Я” злоба, которая образуется в результате воспроизведения в себе интенций ненависти или иных враждебных эмоций, и, не заключая в себе никаких конкретных враждебных намерений, питает своей кровью всевозможные намерения такого рода»⁷. Да отчего же это, почему? — можем спросить мы. Но это недоуменное «почему» бессильно повисает в пустоте. Впрочем, стоило бы

задуматься над привычным с советских времен, но тем не менее странным парадоксом, когда безнравственная в своей повседневной практике власть в идеальном самопредставлении берет на себя как раз роль высшей нравственной инстанции, и потому всякая иная нравственная сила воспринимается ею как недопустимый вызов, как незаконное притязание. «Нравственно» контролирующая инстанция (что сразу же ставит ее саму и ее идеологию вне критики) должна быть вне всякого нравственного подозрения и сомнения (они воспринимаются как прямое оскорбление достоинства власти). Ресентимент и есть следствие этой взятой на себя «высшей нравственной миссии». Специфически «нравственное чувство» Власти, традиционно неотделимое у нас от ее самоощущения, не могло не вызвать в ней ненависти к тому, что творилось в ЕГУ и какое значение этот университет начинал обретать (с точки зрения многих заинтересованных, корыстно заинтересованных лиц — значение «соблазна и совращения»).

И вот уникальная структура ЕГУ формально разрушена; но можно говорить и о том, что реально академическое сообщество, сложившееся в Университете, лишь сплотилось. Иные убеждены в том, что эта структура изначально была чужда традициям нашей культуры. Неправда, ибо кто же ее создавал? Инопланетяне? И не будем забывать о самом главном: о миссии европейского университета *здесь и сейчас* — и в горизонте нашего будущего. Так что имеет смысл поговорить об идее Университета вообще.⁸

Пожалуй, мне надлежало начать с самой общей констатации. В принципе она такова: ломка образовательной системы, уже не справляющейся с теми кардинальными изменениями и интеллектуального горизонта, и информационных средств, и духовных ориентиров, и способов коммуникации, которые были характерны для второй половины XX века — и в первую очередь для Европы (что привело и к трансформации самого понятия европеизма). Изменилась сама форма представления знаний (приобретение знаний, обучение с точки зрения построения экспертных систем и баз знаний, технологизация диалога как способа приобретения знаний, использование теории индуктивных выводов и теории алгоритмов, синтеза программ по примерам и т. п.); другими словами, возникла настоящая инженерия знаний. С другой стороны, многое изменилось и в развитии личности (неотделимом от ее испытания), самом ее понимании. Под сомнение поставлена ее автономия; современный человек испытывает колоссальное влияние средств массовой коммуникации; контроль за большинством процессов социальной жизни все более опосредуется сложной техникой; изменяется и само понятие ответственности. Находится ли современный университет на высоте всех тех вызовов, которые исходят от этих фундаментальных изменений?

ЕГУ из этого процесса никак не был исключен. Между тем он задумывался именно как новая и альтернативная (по крайней мере у нас,

но ведь мы пока еще находимся в Европе?) образовательная структура — в то время как ей еще предстояло «догнать» европейских собратьев и войти в контекст европейской образованности и ее истории. (Кстати, мне кажется упущением отсутствие в ЕГУ двух важных для европейского университета — начиная с XVIII в. — факультетов: исторического и филологического; они во многом способствовали обретению европейского самосознания.) Университет; его слабости — и его могущество; властные силы, действующие в нем, — и силы безвластные. Что же определяет его бытие? И что подспудно действует разрушительно, вызывая кризисы этого бытия (а разве существование чего бы то ни было способно избежать кризиса, равно и кризиса смысла, и кризиса самого своего существования, его изношенности?). Университет, интеллектуальный универсум, развернутый в его наличном бытии через посредство конкретной, но все более усложняющейся организации и учебной, исследовательской и индустриальной деятельности. Ибо университет — это не только учебное учреждение, объединяемые им люди, сообщество преподавателей и студентов, программы, образовательные технологии и т. п.; это также мощный исследовательский центр (центры, когда разрабатываются сразу десятки различных проектов); это настоящая индустрия знаний, школ, творческих личностей, практик. Взаимодействие и переплетение этих образовательных, коммуникативных, научно-исследовательских, производственных практик и характерно для структуры современного университета.

И вот — первый из парадоксов: всеприсутствие университета в общественной жизни и вместе с тем его странное отсутствие. Его неощутимость — притом что его организация, даже чисто вещественная структура впечатляют. Его одышка; кажется, это последний вздох. Но он длится и длится. Речь даже не об идее, а о теле Университета. По Жоржу Диди-Юберману, тела «предписывают неотменимую форму своей видимости»⁹. Какова же эта неотменимая форма видимости, предписанная самим «телом» Университета, его материально воплощенной формальной организации?

Кажется, мы всегда запаздываем мыслить об университете.

Существовать — значит иметь вес. Впечатление таково, что нынешний университет с его бюрократической «начинкой» слишком тяжел, ему как раз не хватает легкости, воздушности. Утонув в плотности инертного Бытия (прямо по Сартру), он странным образом обратился в тень себя самого. Он перестал проходить через нас напрямую, но какими-то обходными, кривыми путями. Когда я захожу в главный корпус Белорусского государственного университета, я чувствую дискомфорт. Слишком много коридоров, слишком много табличек, слишком много людей, причастность которых университетской жизни вызывает недоумение; но они-то ее и определяют. Университет давно перестал быть прозрачной структурой; он оплыл некими грязными сгустками материи, через которые почти невозможно продрасться. Потребность сама по себе еще не вызывает к жизни нечто, призванное ее удовлетворить. Но какой конфигурацией каких сил создан университет? Почему он стал тем, чем он стал? Не были ли упущены иные,

более перспективные возможности? Можно ли к ним вернуться? Честное слово, я стал бы говорить о «воле к Эксперименту». И, думаю, ЕГУ проявил ее.

Конечно, разговоры о кризисе европейского университета набили оскомину. Но это тоже один из признаков кризиса. Некая усталость, проникающая всюду и меняющая саму тональность существования. Повторяю, утрачивается буквально осязаемость, осязаемость; видимость; теряется та визуальная сила, которая, по словам Диди-Юбермана, «смотрит на нас уже постольку, поскольку развязывает анадиоменовскую, ритмическую игру поверхности и глубины, прилива и отлива, выдвижения и отступления, появления и исчезновения»¹⁰. Вместо живого волнующегося океана — мертвое море. Университет, который сам собой показывает утрату Университета, следовательно, некую пустоту, проникающую в него и смотрящую на нас. Университет, бывший носителем и хранителем смысла, — и университет, ставший «вместилищем» пустоты, которую именно поэтому должна покрывать суетливая, почти судорожная видимость деятельности. Мы непроизвольно стремимся уклониться от этой пустоты, но она уже застигла нас. Разве не пустота (явленная на эмпирическом уровне) вся эта кафедральная болтовня, нудные и долгие заседания деканатов, обязательные и до предела выхолащенные мероприятия и т. п.?

Мы сталкиваемся с довольно удивительной антиномией, даже двойной: университет, это европейское изобретение, пребывает в кризисе — и об этом написаны тысячи страниц; но мы и наше общество не можем обойтись без университета, т. е. университет и сама его идея как бы изжили себя — и все же они совершенно необходимы нам и в этом смысле — неизживаемы. Можно и заострить: «Университет умер» — притом что он «бессмертен». (В конкретном приложении к феномену ЕГУ, хотя здесь и приходится учесть фактор внешнего волевого решения, можно сказать: ЕГУ уничтожен — и ЕГУ есть, продолжает быть, по крайней мере в умах и сердцах тех, кто его создавал, кто учился в нем, кто отдавал ему все свои силы и время своей жизни.) И второе: университет есть образовательное учреждение прежде всего, он не занимается непосредственно политической практикой, он должен располагать себя в некоей относительно «нейтральной» зоне, чтобы не стать жертвой злободневных политических перипетий и игр; и университет не может быть вне политики (но весь вопрос в том, какая политика), не может оставить ее вне своего внимания и даже своих притязаний. Или: как свободное сообщество студентов и преподавателей университет не должен быть «проводником» властвующих сил, текущей политики Власти; но он же и призван готовить ту высокообразованную элиту, которая завтра будет править или оказывать существенное влияние на правление. В Университете, таким образом, уживается и нечто бунтарское, и нечто конформистское. Я был бы опечален, если бы из него вытравили всякий дух бунтарства, но я не стал бы и неумолимым критиком всякой политики компромиссов.

Итак, возникает вопрос истины самой идеи (Университета). Пожалуй, здесь опять вполне уместно обратиться к точке зрения, отстаиваемой прагматизмом. По У. Джеймсу, «истина какой-нибудь идеи — это не какое-то неизменное, неподвижное свойство, заключающееся в ней. Истина случается, происходит с идеей. Идея становится истинной, делается истинной благодаря событиям. Ее истинность — это на самом деле событие, процесс, и именно процесс ее верификации, самопроверки. Ее ценность и значение — это процесс ее подтверждения»¹¹. Что ж, идея ЕГУ имела «несчастье» воплотиться, реализоваться, т. е. «случиться», произойти в качестве истины, стать истинной. Но истинное у нас атакуется, оно почему-то неизменно оказывается вызовом власти, которая поэтому саму себя должна утверждать как единственно истинное. Однако это не вся правда. Процесс «самопроверки» идеи Европейского гуманитарного университета, реализуемый в одной из бывших советских республик, и сам оказался неоднозначным, внутренне конфликтным. Так, некоторым высшим бюрократам университета тезис: «Просвещайте! Культивируйте! Образовывайте! Будьте на высоте миссии Университета!» — со временем показался слишком «романтическим», нежизнеспособным, и они настойчиво пытались заменить его другим: «Умейте себя продавать!» («Новация», которой уже более двух тысяч лет, если вспомнить античных софистов.) Но, возможно, ЕГУ в самом деле не очень осмотрительно взял на себя функцию быть ведущим? Это явная или неявная претензия (а как могло быть иначе, если мы говорим об учреждении, вознамерившемся быть действительно Университетом, а не его имитацией, жалким подобием?) быть и жить самой Истиной, т. е. являть ее — по крайней мере в сфере образования и отношений учителей и учеников. Как отмечалось выше, представлять Истинное всегда небезопасно, поскольку в этом случае мы сталкиваемся либо с уже установленной монополией на подобное представительство, либо с очень грозными и ревнивыми конкурентами.

Когда закрывается учреждение, которое открывало некие новые горизонты, на которое возлагались большие надежды, то всегда возникает вопрос: «почему». Являлся ли этот запрет на дальнейшую деятельность закономерным итогом собственного банкротства, заслуженным фиаско, или завершающим актом незаслуженного, пристрастного и, в общем-то, постыдного притеснения? Посмотрим на расклад возможных ответов. 1. Плох был сам фундамент, слабой основа постройки, ее наличная стоимость, оказавшаяся спекулятивной, чрезмерно завышенной. 2. Несостоятельными оказались сами люди, это учреждение образовавшие (жертвы — они же и виновники собственных бед; расхожая формула, гласящая: «сами виноваты»). 3. Воля к образованию проиграла воле к власти¹²; в чем-то важном это учреждение мешало власти имущим, оказавшись ненужным и неудобным конкурентом для государственно поддерживаемых институций. 4. Непродуманной оказалась идеология и политика данного учреждения, она не смогла ответить на текущие актуальные вызовы¹³. 5. В силу ряда структурных причин.

6. По причине финансовой несостоятельности, финансовой зависимости. Ну и так далее. Однако подобные события обычно случаются в точке (и очень проблемной точке) пересечения нескольких факторов и причин, каждая из которых не столь уж и однозначна. Реакция типа праведного негодования, филистерского согласия, исполненного скепсиса разочарования или холодного отчуждения от всей этой полной малых и больших интриг игры разных сил, — такая реакция, быть может, психологически и понятна, но вряд ли заслуживает статьи в интеллектуальном журнале. Но как бы там ни было, можно со всей определенностью констатировать: еще одна уникальная возможность — наша с вами возможность — безжалостно раздавлена. Правда, этому многие поспособствовали: кто в силу собственной наивности, кто в силу равнодушия или трусости, кто в силу корыстного расчета. Утрата такого рода возможностей, которых у нас не так уж и много (а данная вовсе не свалилась с неба, подобно счастливому, но не заслуженному дару, она была создана значительными усилиями ряда людей), всегда печальна. Оставим, однако, эту печаль в стороне; попробуем разобраться в случившемся, находясь уже в некотором временном отдалении от него. Как известно, разочарованный ум — как и возмущенный, ослепленный пристрастием — плохой аналитик. Хотя несомненным фактом остается то, что после закрытия ЕГУ образовательная ситуация в республике значительно ухудшилась.

Судьба ЕГУ — знак состояния нашего общества, его неблагополучия. А, согласно О. Розенштоку-Хюсси, именно социальные опасности поуждают нас выговаривать свое сознание.¹⁴ Таких фундаментальных социальных бедствий — четыре, и все они связаны с четырьмя речевыми ориентациями в действительности (по отношению к будущему и прошлому во времени, внутреннему и внешнему в пространстве). Сначала — об этих бедствиях. Это анархия (внутри общества; она связана с кризисом единодушия), упадок (кризис веры и неспособность к будущему), революция (кризис уважения и насилие над миропорядком, сформированным прошлым), война (обращенная вовне, игнорирующая экстерриториальность; кризис силы). Облегчение при этих социальных заболеваниях приносят четыре различных стиля речи. Соответственно, и сам человек раскрывается посредством речи в четырех важнейших аспектах: через императивы, которые он слышит обращенными к нему как к *Ты* и призывающими осуществить свое будущее; через размышление, открывающее нам наше *Я*, внутреннюю субъективную личность; через причастность этого *Я* роду человеческому, речевой формой чего выступает *Мы*; и, наконец, четвертой, плюральной, речевой стадией человеческой жизни, когда человек выступает в качестве члена профессионального или коммерческого сообщества, является его воплощенность и узнаваемость по имени, в категории третьего лица, *Он*. Я не намерен сейчас критиковать эту схему, я хочу попробовать ее использовать. Как же говорит у нас власть — и академическое сообщество (пример которого я и нахожу в ЕГУ)? Послушаем, учитывая эти четыре модуса речи.

Власть говорит нам: *Ты* должен (и, значит, ограничь свои собственные рассуждения), *Мы* обязаны (внимать и исполнять), желания *Я*

подозрительны (и, следовательно, должны быть под контролем самой Власти), *Он (Они)* враждебен (враждебны) нам; таким образом, она хочет продолжать старое под флагом якобы «нового», ориентируясь на прошлое и внешнее (что как раз свидетельствует о зависимости от него). Академическое сообщество говорит нам: *Ты* можешь, *Мы* имеем право (самим определять нашу жизнь), желания *Я* правомочны, *Он (Они)* суть тот (или те), с кем мы можем и должны сотрудничать; таким образом, оно хочет изменений и ориентируется на будущее и внутреннее. Получается, что Власть и академическое сообщество объективно несовместимы по самим своим ориентациям. Но разве это не фатально? — Нет, но в условиях правового ограничения самой Власти, развитой структуры гражданского общества, политической сознательности наших граждан, что требует соответствующего культурного и образовательного уровня. Над этим-то и работал ЕГУ — и не это ли вызвало такую резкую реакцию власти, столь разоблачительную для нее самой?

Само это различие университетской доксы и доксы государственной политики должно побудить нас внимательнее присмотреться к ним. Но сначала еще раз вернемся к вопросу о знании. Меня интересует многообразие его форм, тогда как власть часто пытается его редуцировать лишь к одной разновидности. Согласно легистам (древнекитайская школа «законников») один из принципов «должного» правления гласит: сфера твоей компетенции должна быть ограничена твоим статусом, твоей должностью. Или: ты должен знать только то, что входит в сферу твоей определяемой статусом компетенции. Знать — но не больше того, что тебе положено знать; при этом то, что тебе положено знать, определяешь никак не ты сам. Прежде всего, отметим, что само знание вовлечено в игры сообщаемости, открытости, трансляции — и одновременно сокрытия, утаенности, привилегированности доступа. Хотя по своей сути оно всегда «коммуникабельно»; даже если только я знаю (это), а ты не знаешь, само это «ты не знаешь» уже есть знак (возможной) коммуникации. Обратим внимание и на сопряженность модусов существования и знания. Так, мы можем говорить о знании сущего — знании возможного — и знании должного. (Опустим дальнейшие подробные градации; к примеру, знание возможного включает в себя знание возможного в принципе; возможного при определенных условиях, в определенном месте и времени; знание того, для кого это возможно, а для кого нет; возможного как именно и т. д.). Знание предметное («что это?»), знание о ...; знание «субъектное» («кто это?» и вообще «кто?») — ответствен, виновен, должен и т. п.); знание-умение (говорящее нам, как это сделать) и знание-ознакомление; знание того, как нечто устроено, структурировано, организовано; знание места и времени («где? когда? куда?»); знание целевое («зачем? для чего?») и знание каузальное («почему?») или знание оснований («на чем основано? на чем держится?»). Наконец, знание о самом знании — а потому, и о нашем незнании («сократическое» знание)... Итак, перед нами вырисовывается настоящая триада: знание — экзистенция — практика; т. е. знания сопряжены — хотя и все более опосредованно — с определенными типа-

ми практики. Что же опосредует это отношение? По меньшей мере четвероякое: технологии – организации – культурные традиции – личности. Отсюда вытекает и ответ на вопрос о том, какие практики для нас возможны и как их выстраивать. Но именно в силу таких «опосредующих элементов», как творческие личности и технологические инновации (а они требуют и новой организации), этот ответ не является предопределенным, и для нас всегда сохраняется некий горизонт свободного выбора. Ну а теперь вернемся к авторитарному режиму правления и его отношению к знанию как таковому. Главный тезис здесь на удивление прост: «За тебя знает Власть». Или: «Власть лучше знает, что тебе надо», поскольку она-де обладает преимуществом видения целого и блюдет его интересы. И хотя этот тезис скрывает корыстный интерес самой Власти, он очень соблазнителен. Прежде всего он избавляет от труда знания, от ответственности знать и ответственности, возлагаемой на нас знанием. Есть люди (и это психологический и социальный факт, который заставляет задуматься), всеми силами стремящиеся как раз не знать – какой благодатный «материал» для власти!

Но будем критичны и в отношении университетской доксы. К подобной (само)критичности нас обязывает сама идея Университета.¹⁵ Трудность (указываемая Пьером Бурдьё в его социоанализе университетской доксы) заключается в том, что, рассуждая об университете, почти невозможно уйти от университетского дискурса и потому невозможно избежать тавтологий, т. е. использования в обсуждении темы Университета представлений, произведенных самим же университетским образованием. Но насколько мы можем доверять тому, что университеты говорят сами о себе? (Кстати, та же проблема и с государством, все более и более желающем самому говорить о себе, так что «истина государства» есть то, что высказывается о государстве им же самим.) В значительной мере предрасположенность учиться формируется социально; это значит, что «хорошие и послушные ученики ... социально предрасположены к усвоению диспозиций, которых от них требует институция, т. е. позитивно хорошо относятся к ее основополагающим ценностям, требуемому стилю человека»¹⁶. В конечном счете мы даже можем утверждать, что неосознанное подчинение оказывается основанием образовательной системы. Возникает аналогия с тем чувством абсолютного подчинения, которое мы подчас испытываем в отношении государства. Социальный корпус, т. е. устойчивая, воспроизводимая (посредством операций кооптации) во времени общность, формируемая институтом на основе социальной позиции, – он-то и выполняет функцию социализации и регуляции практик своих членов. Социальный (профессиональный) корпус ЕГУ и был атакован в первую очередь. Но именно здесь Власть и потерпела поражение, ибо этот корпус все же был сохранен в своей основе.

Я не буду вдаваться в социологический разбор академического достоинства (определенная манера письма, общения, восприимчивости, уважения к форме и сама форма выражения уважения и т. п.) и достоинства государства (а ведь оно должно было бы выражаться во вполне эмпирически верифицируемых величинах, как-то: доступность вла-

сти, гарантии гражданам, соблюдение их достоинства, неотъемлемых прав (среди которых и право на то образование, которое они считают для себя нужным). Меня интересует другое: почему они вступили в конфронтацию? Вернемся еще раз к университетской доксе, под которой П. Бурдые, в общем-то, понимает некую форму верования («докса — это отношения непосредственного согласия с миром»). Социолог (и это отличает его от феноменолога) должен поставить вопрос об условиях, при которых мы можем получать от социального мира это доксическое знание и воспринимать социальный мир как нечто само собой разумеющееся. Этот опыт социального мира как мира очевидного возможен только при необходимом согласии между ментальными структурами (категории восприятия, прилагаемые к миру) и структурами самого мира. Можно предположить, что «расхождение» академического достоинства и достоинство государства скрывает за собой более фундаментальное расхождение подобных ментальных структур и структур самого социального мира. Инертность последних, не подвергшихся давно назревшей реформе, приводит ко все большему запаздыванию по отношению к новым формам восприятия и понимания. Но если мы мыслим иначе, то и существовать мы должны иначе. Современные приемы и методы мышления (их-то и пытались транслировать в ЕГУ) разительно не соответствуют старым приемам и методам государственной политики.

Но отнесемся серьезно и к этому обстоятельству (мы уже ссылались на него выше): «для того чтобы думать об университете, у нас нет ничего, кроме университетских мыслей, соответствующих категорий, парных противопоставлений, дуализмов. В том же смысле мы могли бы сказать, что система образования, как ни странно, являясь образцовым местом для экзамена, есть в то же время одна из институций, которой все доверяют, не проверяя»¹⁷. Так что по-настоящему университет никто не критикует.¹⁸

Постараемся же рассмотреть и учесть ту логику символического принуждения, символической монополии и, более широко, логику делегирования, когда полномочный выразитель мнений некоей группы говорит не только для, но и за тех, для кого он говорит. Бурдые, в частности, упоминает преподавателя философии (что близко и мне); преподавателя, который своим 10–13 студентам предлагает собственную продукцию, «произведенную в исключительно монопольной позиции и распространяемую на маленьком защищенном рынке». Но вот ведь в чем дело (и это лишь усложняет нашу задачу) ... у нас все обстоит точно так же, и все-таки не вполне так. Не вполне так, ибо ЕГУ, его образовательная практика, все же не обладал никакой монопольной позицией, а, напротив, оспаривал ее, и не имел никакого, даже маленького, защищенного рынка (хотя и пытался сам создавать его в определенном виде). Само появление ЕГУ было неким сдвигом в нашей привычной образовательной системе, и поэтому новый университет таил в себе угрозу для этой последней. И именно в отношении последней справедливы слова Бурдые: «Образовательная система заставляет действовать в неузнаваемом, нейтрализованном, эвфемизированном виде

основополагающие социальные оппозиции, и через них она, несомненно, вносит свой вклад в их символическое укрепление». Но не в отношении ЕГУ, который пытался культивировать иной габитус, иную (европейскую) систему инкорпорированных классификаций, каковые «детерминируют предпочтения, переживаемые как призвание, и ориентируют оценочные суждения»¹⁹. Поэтому, объективно говоря, у ЕГУ было только три возможности: быть ассимилированным официальной образовательной системой (это и было бы настоящим крахом ЕГУ); произвести подлинную образовательную революцию (для этого не хватило сил, да и не было достаточных и необходимых условий); решиться на сопротивление и бунт против авторитарных решений власти.

Не могу здесь останавливаться на той некартезианской (неинтеллектуалистской) педагогике, о которой Бурдые говорит далее. Но стоит подумать о более решительной (и проработанной) поддержке ориентации образования на *ars inveniendi* (изобретательность), а не на *modus operandi* (подчинение осознанным правилам; путь, ведущий нас от принципов к практическому применению) в первую очередь; ориентации на педагогику передачи умений, искусств – в смысле практических (но и теоретически насыщенных) способов говорить и делать. (Бурдые называет это также исследовательской педагогикой, или педагогикой расширенного рационализма, великодушия и свободы, неразрывно сопряженной с демократическими институтами.) И, думаю, вполне можно согласиться с тем, что «за педагогикой всегда скрывается определенная философия, в частности философия действия». (В этом смысле важно, какую философию отстаивал ЕГУ; ясно, что совсем не ту, которую потихоньку сводили вообще на нет в государственном университете.) Но вряд ли для нас так уж актуален тезис «против интеллектуализма»; как раз интеллектуалов в этой стране – явный недобор (так что, прежде чем стать «жертвами интеллектуалистских и интеллектуалоцентристских ошибок», нам еще надо стать действительными интеллектуалами). И эту лауну ЕГУ пытался заполнить²⁰. ЕГУ ввел новые ментальные границы и деления, посягнув на прежние монополии и сделав ряд компетенций (а следовательно, и тех областей, внутри которых они имели гарантированного заказчика и постоянно сохраняемую ценность) архаичными, смешными, дутыми. Поэтому закрытие ЕГУ – это консервативный реванш, защитивший тот интеллектуальный рынок, на котором до сих пор выставляют свой товар бывшие истматчики, диаматчики, «научные атеисты» (срочно переквалифицировавшиеся в «религиоведов»), «научные коммунисты» и специалисты по истории КПСС (ставшие теперь «политологами» и «социологами») и т. д. Закрытие ЕГУ – результат символической борьбы, в которой силы прошлого защитили свою ментальную неприкосновенность. Но это ведь на время. Ибо никому не дано удержать то, что умерло.

В самом начале своей известной книги *Звезда спасения (Der Stern der Erlösung)* Франц Розенцвейг писал: «Vom Tode und nur vom Tode fangt alles Erkennen an». Ну, а раз так, то даже формальным упразднением ЕГУ дает нам некий урок, смысл которого не надо разгадывать – он и

так налицо. И мне остается лишь вспомнить замечание человека, много значившего и для только что упомянутого автора: «Образование — это не роскошь, придуманная для младших членов общества: не слишком ли часто оборачивается оно для них крахом?» И еще одно: «Истинной формой общественной мысли является обучение»²¹. Здесь надо лишь иметь в виду различие, которое Розеншток-Хюсси проводит между «чистым обучением» (на нем зиждется весомость всего общественно-го знания в целом) и «смешанным обучением». Первое — «без какой бы то ни было непосредственной выгоды как для учителя, так и для ученика», — центральный процесс, посредством которого может быть проверена истинность общественного знания, тогда как «смешанное», т. е. обычное, обучение выдвигает на передний план престиж, текущие события, экзамены и т. п. Для государственного и идеологизированного обучения первое совершенно излишне и даже мешает. Тем важнее ставить акцент на разного рода формальных проверках и стандартных экзаменах, которые вырабатывают у обучающихся не собственное творческое мышление, а готовность к исполнению и умение подбирать нужный, т. е. ожидаемый, ответ на не ими поставленный вопрос.

Однако пора завершать. Повторю чужую мысль: мы живем вперед, но понимаем назад. Я не вполне согласен с этим. Однако нам действительно придется жить вперед. А вот понимать лишь «назад»... Это ведь мало для самого понимания; и существует не только пред-понимание, но и пост-понимание. Уже в силу самого такого характера нашей жизни и нашего понимания я имею все основания сказать в заключение: «Прощай, ЕГУ — и опять здравствуй».

Примечания

- ¹ Батай Ж. *Теория религии* // Батай Ж. *Литература и Зло*. Мн., 2000. С. 105.
- ² Одайник В. *Психология и политика*. СПб., 1996. С. 11.
- ³ Я, в частности, имею в виду и преподавание ряда по сути дела «идеологизированных» предметов, где доминирует одна привилегированная точка зрения; предметов, аналогов которым вы не найдете в европейском университете.
- ⁴ Так что впору говорить о сопряженных ценностях кооперации — и личности, личной инициативы и личной ответственности; дисциплины — и творческого воображения, без чего невозможно никакое исследование.
- ⁵ Вспоминаются слова Ницше: «Не страшен тот, кто сам себе не страшен».
- ⁶ Спросим самих себя: ощущаем ли мы себя действительно европейцами? Стоят ли наши гуманитарные науки — и в смысле значимости в обществе, и в смысле собственной соотоятельности — на должном уровне? Соответствуют ли наши университеты самой идее Университета и отвечают ли они надлежащим образом на вызовы времени?
- ⁷ Шелер М. *Ресентимент в структуре моралей*. СПб., 1999. С. 10.
- ⁸ Должен признаться, что меня особо интересует тема мошенничества в политике и образовании. Полагаю, мы вынуждены иметь дело с подобными фигурами — «мошенник-политик» и, как ни странно, «мошенник-преподаватель». Нет ничего хуже «образованной» посредственности с присущими ей качествами агрессивности, высокомерия (и в то же время угодливости по отношению к вышестоящим), интриганства и постоянной склонности к демагогии. Их задача — воспроизводить себе подобных, а не способствовать образованию других; их императив — не делиться, а принуждать и требовать. Увы, «мошенничество так принято, что едва кто-то

вздумает говорить правду, тотчас его объявят опаснейшим из лжецов» (Ингмар Бергман, киноповесть *Лицо*).

⁹ Диди-Юберман Ж. *То, что мы видим, то, что смотрит на нас*. СПб., 2001. С. 9.

¹⁰ Там же, с. 12.

¹¹ Джеймс У. *Воля к вере*. С. 284–285.

¹² В том числе и у некоторых людей, определявших политику ЕГУ. В отличие от ряда своих коллег я не склонен снимать с самого ЕГУ определенной меры ответственности за произошедшее. Однако она несоизмерима с ответственностью Власти, принявшей столь одиозное решение, сразу поставившее Беларусь в разряд стран-изгоев, в которых по идеологическим соображениям запрещаются университеты.

¹³ Все дело лишь в том, что эти вызовы весьма различны с точки зрения нынешней власти и гражданского общества.

¹⁴ Кстати, он утверждал: «Будущее интеллигенции: либо мы найдем общий язык, либо общую погибель. Мы должны открыть единое основание для социального мышления. В противном случае массы обойдутся без нас, махнув рукой на нашу непостижимую разобщенность». См.: Розеншток-Хюсси О. *Речь и действительность*. М., 1994. С. 13.

¹⁵ Пример такой критики – но она затрагивает и саму идею Университета – дает Пьер Бурдьё. См.: Бурдьё П. *Университетская докса и творчество: против схоластических делений* // Социо-логос. М., 1996.

¹⁶ Бурдьё П. Указ. соч. С. 8.

¹⁷ Там же, с. 12.

¹⁸ Как замечает Бурдьё, «значительная и наиболее шумная часть критиков образовательной системы скрывается за призывом к старому университетскому порядку, т. е. такому, который может выступать в обличье ниспровергающего дискурса» (там же).

¹⁹ Там же, с. 17.

²⁰ В отношении же государственного университета вполне применимы слова Бурдьё: здесь «господствующие лишены (понимания) лишения, которому их подвергает обучение, приводящее к абсолютной привилегии одной формы осуществления интеллектуальной деятельности» (там же, с. 18). Ну, а затем они и сами, занимая господствующее положение в системе трансляции знания, всю стараются навязать ущербное определение культуры другим.

²¹ Розеншток-Хюсси О. *Речь и действительность*. С. 25.